



М. ГОРЬКИЙ

Разрушение личности

I

Народ не только сила, создающая все материальные ценности, он — единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый по времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт, создавший все великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них — историю всемирной культуры.

Во дни своего детства, руководимый инстинктом самосохранения, голыми руками борясь с природой, в страхе, удивлении и восторге пред нею, он творит религию, которая была его поэзией и заключала в себе всю сумму его знаний о силах природы, весь опыт, полученный им в столкновениях с враждебными энергиями вне его. Первые победы над природой вызвали в нем ощущение своей устойчивости, гордости собою, желание новых побед и побудили к созданию героического эпоса, который стал вместительницей знаний народа о себе и требований к себе самому. Затем миф и эпос сливались воедино, ибо народ, создавая эпическую личность, наделял её всей мощью коллективной психики и ставил против богов или рядом с ними.

В мифе и эпосе, как и в языке, главным деятеле эпохи, определённо сказывается коллективное творчество всего народа, а не личное мышление одного человека. «Язык, — говорит Ф. Буслаев, — был существенной составной частью той нераздельной деятельности, в которой каждое лицо хотя и принимает живое участие, но не выступает ещё из сплочённой массы целого народа».

Что образование и построение языка — процесс коллективный, это неопровержимо установлено и лингвистикой и историей культуры. Только гигантской силой коллектива возможно объяснить непревзойдённую и по сей день глубокую красоту

мифа и эпоса, основанную на совершенной гармонии идеи с формой. Гармония эта, в свою очередь, вызвана к жизни целостностью коллективного мышления, в процессе коего внешняя форма была существенной частью эпической мысли, слово всегда являлось символом, т. е. речение возбуждало в фантазии народа ряд живых образов и представлений, в которые он облакал свои понятия. Примером первобытного сочетания впечатлений является крылатый образ ветра: невидимое движение воздуха олицетворено видимою быстротой полёта птицы; далее легко было сказать: «Реют стрели яко птицы». Ветер у славян Стри, бог ветра — Стри-бог, от этого корня стрела, стрежень (главное и наиболее быстрое течение реки) и все слова, означающие движение: встреча, струг, сринуть, рыскать и т. д. Только при условии сплошного мышления всего народа возможно создать столь широкие обобщения, гениальные символы, каковы Прометей, Сатана, Геракл, Святогор, Илья, Микула и сотни других гигантских обобщений жизненного опыта народа. Мощь коллективного творчества всего ярче доказывается тем, что на протяжении сотен веков индивидуальное творчество не создало ничего равного «Илиаде» или «Калевале», и что индивидуальный гений не дал ни одного обобщения, в корне коего не лежало бы народное творчество, ни одного мирового типа, который не существовал бы ранее в народных сказках и легендах.

Мы ещё не имеем достаточного количества данных для суждения о творческой работе коллектива — о технике создания героя, но мне кажется, объединяя наши знания по вопросу, дополняя их догадками, мы уже можем приблизительно очертить этот процесс.

Возьмём род в его непрерывной борьбе за жизнь. Небольшая группа людей, окружённая отовсюду непонятными и часто враждебными явлениями природы, живёт тесно, в постоянном общении друг с другом; внутренняя жизнь каждого её члена открыта наблюдениям всех, его ощущения, мысли, догадки становятся достоянием всей группы. Каждый член группы инстинктивно стремился высказаться о себе до конца — это внушалось ему ощущением ничтожества своих сил перед лицом грозных сил зверя и леса, моря и неба, ночи и солнца, это вызывалось и видениями во сне, и странною жизнью дневных и ночных теней. Таким образом, личный опыт немедленно вливался в запас коллективного, весь коллективный опыт становился достоянием каждого члена группы.

Единица представляла собой воплощение части физических сил группы и всех её знаний — всей психической энергии. Еди-

ница — исчезает, убитая зверем-молнией, задавленная упавшим деревом, камнем, поглощённая чарусой болота или волной реки, — все эти случаи воспринимаются группой как проявление разных сил, которые враждебно подстерегают человека на всех его путях. Это вызывает в группе печаль об утрате части своей физической энергии, опасение новых потерь, желание оградить себя от них, противопоставить силе смерти всю силу сопротивления коллектива и естественное желание борьбы с нею, мести ей. Вызванные убылью физической силы, переживания коллектива слагались во единое, бессознательное, но необходимое и напряжённое желание — заместить убыль, воскресить отошедшего, оставить его в своей среде. И на тризне по родном человеке род впервые создавал в своей среде личность; ободряя себя и как бы угрожая кому-то, он, род, соединял этой личностью всю свою ловкость, силу, ум и все качества, делавшие единицу и группу более устойчивой, более мощной. Возможно, что каждый член рода в этот момент вспоминал какой-либо свой личный подвиг, свою удачную мысль, догадку, но, не ощущая своё «я» как некое бытие вне коллектива, присоединял содержание этого «я», всю энергию его к образу погибшего. И вот над родом возвышается герой, вместивший в себя всю энергию племени, уже воплощённой в деяниях, отражение всей духовной силы рода. В этот момент должна была создаваться совершенно особенная психическая среда; возникала воля к творчеству, превращавшая смерть в жизнь. Все воли, направленные с одинаковой силой на воспоминание о погибшем, делали это воспоминание центром своего пресечения, и, может быть, коллектив даже ощущал присутствие в своей среде героя, только что созданного им. Мне думается, что на этой стадии развития явилось понятие «он», но ещё не могло сложиться «я», ибо коллектив не имел в нём нужды.

Роды объединялись в племена — образы героев сливались в образ племенного героя, и возможно, что двенадцать подвигов Геракла знаменуют собой союз двенадцати родов.

Создав героя, любясь его мощью и красотой, народ необходимо должен был внести его в среду богов — противопоставить свою организованную энергию многочисленности сил природы, взаимно враждебных самим себе и человечеству. Спор человека с богами вызывает в жизни грандиозный образ Прометея, гения человечества, и здесь народное творчество гордо возносится на высоту величайшего символа веры, в этом образе народ вскрывает свои великие цели и сознание своего равенства богам.

По мере размножения людей возникает борьба родов, рядом с коллективом «мы» встаёт коллектив «они» — и в борьбе между ними возникает «я». Процесс образования «я» аналогичен процессу образования эпического героя — коллектив нуждался в образовании личности, потому что должен был разделять в себе функции борьбы с «ними» и с природой, должен был вступить на путь специализации, делить свой опыт между членами своими — этот момент был началом дробления целостной энергии коллектива. Но выдвигая из среды своей личность, в качестве вождя или жреца, коллектив насыщал её всем своим опытом точно так же, как в образ героя влагал всю массу своей психики. Воспитание вождя и жреца должно было иметь характер внушения, гипноза личности, обречённой на выполнение руководящей функции; но, творя личность, коллектив не нарушал в себе органического сознания единства своих сил — процесс разрушения этого сознания совершился в психике индивидуальной, когда личность, выделенная коллективом, встала впереди него, в стороне от него и затем *над* ним — первое время она, трудясь, выполняла возложенную на неё функцию, как орган коллектива, но далее, развив свою ловкость и проявив личную инициативу в тех или иных новых комбинациях данного ей материала коллективного опыта, сознала себя, как новую творческую силу, независимую от духовных сил коллектива.

Этот момент является началом расцвета личности, а это её новое самосознание — началом драмы индивидуализма.

Стоя впереди коллектива, жадно наслаждаясь ощущением своей силы, видя своё значение, личность первое время не могла ощущать пустоты вокруг себя, ибо психическая энергия родной среды продолжала передаваться ей из коллектива. Он видел в её росте доказательство своей силы, продолжал насыщать своей энергией ещё не враждебное ему «я», искренно любовался блеском ума, обилием способностей вождя и венчал его венцами славы. Пред вождём стояли образы эпических героев племени, возбуждая его к равенству с ними, коллектив в лице вождя чувствовал возможность создать нового героя, и эта возможность была жизненно важна ему, ибо слава подвигов данного племени была в ту пору столь же крепкой обороной от врага, как мечи и стены городов.

«Я» вначале не теряло ощущение своей связи с коллективом, оно чувствовало себя вместилищем опыта племени и, организуя этот опыт в форму идей, ускоряло процесс накопления и развития новых сил.

Но, имея в памяти образы героев, вкусив сладость власти над людьми, личность стала стремиться к закреплению за собой данных ей прав. Она могла это делать, лишь превращая созданное и сменяющееся в незыблемое, выдвинувшие её формы жизни — в непоколебимый закон; других путей к самоутверждению у неё не было.

Поэтому мне кажется, что в области духовного творчества личность играла консервативную роль: утверждая и отстаивая свои права, она должна была ставить пределы творчеству коллектива, она суживала его задачи и тем искажала их.

Коллектив не ищет бессмертия, он его имеет, личность же, утверждая свою позицию владыки людей, необходимо должна была воспитать в себе жажду вечного бытия.

Народ, как всегда, стихийно творил, побуждаемый стремлением своим к синтезу — к победе над природой, личность же, утверждая единобожие, утверждала свой авторитет, своё право на власть.

Когда индивидуализм укреплялся в жизни как начало командующее и угнетающее, он создал бессмертного бога, заставил массы признать личное «я» богоподобным и сам уверовал в творческие силы свои. Далее, в эпоху своего расцвета, стремление личности к абсолютной свободе необходимо поставило её резко против ею же установленных традиций и ею же созданного образа бессмертного бога, который освящал эти традиции. В своём стремлении ко власти индивидуализм был вынужден убить бессмертного бога, опору свою и оправдание бытия своего; с этого момента начинается быстрое крушение богоподобного, одинокого «я», которое без опоры на силу вне себя неспособно к творчеству, т. е. к бытию, ибо бытие и творчество — едины суть.

Современный нам индивидуализм вновь разнообразно пытается воскресить бога, дабы силою авторитета его снова укрепить истощённые силы «я», одряхлевшего, запутавшегося в тёмном лесу узко личных интересов, навсегда потеряв дорогу к источнику живых творческих сил — коллективу.

У племени возникал страх перед самовластием личности и враждебное отношение к ней. Бестужев-Рюмин приводит следующее свидетельство Ибн Фоцлана о болгарях Волги: «Если они встречают человека с необыкновенным умом и глубоким познанием вещей, то говорят: «Ему впору служить богу», потом схватывают его, вешают на дереве и оставляют в таком положении, доколе труп не распадется на части. У хозар был такой порядок: выбрав вождя, ему накидывали петлю на шею и спрашивали,

сколько времени хочет он управлять народом. Сколько лет он назначит, столько и должен править, иначе его умерщвляли». Этот обычай встречался также у других тюркских племён; он знаменует собою степень страха племени перед развитием личного начала, враждебного коллективным целям.

В легендах, сказках и поверьях народа мы находим бесчисленное количество поучительных доказательств бессилия личности, насмешек над её самоуверенностью, гневных осуждений её жажды власти и вообще враждебного отношения к ней; народное творчество пропитано убеждением в том, что борьба человека с человеком ослабляет и уничтожает коллективную энергию человечества. Во всей этой суровой дидактике определенно сказывается глубоко-поэтически сознанным народом убеждение в творческих силах коллектива и его громкий, порою резкий призыв к стройному единению ради успеха борьбы против тёмных сил враждебной людям природы. Если же человек вступает в эту борьбу единолично, его подвергают осмеянию, осуждают на гибель. Разумеется, в этом споре, как во всякой вражде людей, обе стороны неизбежно преувеличивали грехи друг друга, а преувеличение влекло к ещё большей злобе и большему разобщению двух творческих начал — первичного и производного.

По мере количественного размножения «личностей» они вступали в борьбу друг с другом за объём власти, за охрану интересов всё более жадного к славе «я»; коллектив дробился, всё менее питал их своей энергией, психическое единство таяло, и личность бледнела. Ей уже приходилось удерживать занятую позицию против воли племени, нужно было всё более зорко ограждать своё личное положение, имущество, жён и детей. Задачи самодовлеющего бытия индивидуальности становились сложны, требовали огромного напряжения; в борьбе за свободу своего «я» личность совершенно оторвалась от коллектива и оказалась в страшной и быстро истощившей её силы пустоте. Началась анархическая борьба личности с народом, картина, которую рисует нам всемирная история, и которая становится так невыносима для совершенно разрушенной, бессильной личности наших дней.

Росла всеразделяющая частная собственность, обостряя отношения людей, возникали непримиримые противоречия; человек должен был напрягать все силы на самозащиту от поглощения бедностью, на охрану личных своих интересов, постепенно теряя связь с племенем, государством, обществом, и даже, как мы это видим теперь, он едва выносит дисциплину своей партии, его тяготит даже семья.

Каждый знает, какую роль играла частная собственность в дроблении коллектива и в образовании самодовлеющего «я», но в этом процессе мы должны видеть кроме физического и духовного порабощения народа — распад энергии народных масс, постепенное уничтожение гениальной, поэтически и стихийно творящей психики коллектива, которая одарила мир наивысшими образами художественного творчества.

Сказано, что «рабы не имеют истории», и хотя это сказано господами, здесь, однако, есть доля правды. Народ, в котором и церковь и государство с одинаковым усердием умерщвляли душу, стараясь обратить его в покорную их воле физическую силу, народ был лишён и права, и возможности создавать свои догадки о смысле жизни, отражать в образах и легендах свои чаяния, мысль свою и надежды.

Но хотя — духовно скованный — он не мог подняться до прежних высот поэтического творчества, он всё же продолжал жить своей глубокой внутренней жизнью, создал и создаёт тысячи сказок, песен, пословиц, иногда восходя до таких образов, как Фауст и т. д. ...Создавая эту легенду, народ как бы хотел отметить духовное бессилие личности, уже явно и давно враждебной ему, осмеять её жажду наслаждений и попытки познать непознаваемое для неё. Лучшие произведения великих поэтов всех стран почерпнуты из сокровищницы коллективного творчества народа, где уже издревле даны все поэтические обобщения, все прославленные образы и типы.

Ревнивец Отелло, лишённый воли Гамлет и распутный Дон-Жуан — все эти типы созданы народом прежде Шекспира и Байрона, испанцы пели в своих песнях «Жизнь — есть сон» раньше Кальдерона, а магометане-мавры говорили это раньше испанцев, рыцарство было осмеяно в народных сказках раньше Сервантеса, и так же зло, и так же грустно, как у него.

Мильтон и Данте, Мицкевич, Гёте и Шиллер возносились всего выше тогда, когда их окрыляло творчество коллектива, когда они черпали вдохновение из источника народной поэзии, безмерно глубокой, неисчислимо разнообразной, сильной и мудрой.

Я отнюдь не умаляю этим права названных поэтов на всемирную славу и не хочу умалять; я утверждаю, что лучшие образцы индивидуального творчества дают нам великолепно огранённые драгоценности, но эти драгоценности были созданы коллективной силой народных масс. Искусство — во власти индивидуума, к творчеству способен только коллектив. Зевса создал народ, Фидий воплотил его в мрамор.

Сама по себе, вне связи с коллективом, вне круга какой-либо широкой, объединяющей людей идеи, индивидуальность — инертна, консервативна и враждебна развитию жизни.

Посмотрите с этой точки зрения историю культуры, следя за ролью индивидуализма в эпохи застоя жизни, изучая типы его в эпохи активные, как, например, Возрождения и Реформации; вы увидите: в первом случае явный консерватизм индивидуальности, её склонность к пессимизму, квиетизму и другим формам нигилистического отношения к миру. В такие моменты, когда народ, как всегда, непрерывно кристаллизует свой опыт, личность, отходя от него, игнорируя его жизнь, как бы утрачивает смысл своего бытия и, бессильная, позорно влачит дни свои в грязи и пошлости будней, отказываясь от своей великой творческой задачи — организации коллективного опыта в форму идей, гипотез, теорий. Во втором случае вас поражает быстрый рост духовной мощи личности — явление, которое можно объяснить лишь тем, что в эти эпохи социальных бурь личность становится точкой концентрации тысяч волей, избравших её органом своим, и встаёт перед нами в дивном свете красоты и силы, в ярком пламени желаний своего народа, класса, партии.

Безразлично, кто эта личность — Вольтер или протопоп Аввакум, Гейне или Фра-Дольчино, и неважно, какая сила движет ими — ротюра или раскольники, немецкая демократия или крестьянство, — важно, что все герои являются перед нами как носители коллективной энергии, как выразители массовых желаний. Мицкевич и Красинский явились во дни, когда их родной народ был цинично разорван натрое физически, но еще с большей энергией, чем когда-либо раньше, чувствовал себя цельным духовно. И всегда и всюду на протяжении истории — человека создавал народ.

Особенно ярким доказательством данного положения служит жизнь итальянских республик и коммун в *tre-* и *quattrocento* (Проторенессанс (XIII и XIV вв.) и раннее Возрождение (XV в.) (*ит.*). — *Ред.*), когда творчество итальянского народа глубоко коснулось всех сторон духа, охватило пламенем своим всю широту строительства жизни, создало столь великое искусство, вызвав к жизни изумительное количество великих мастеров слова, кисти и резца.

Величие и красота искусства прерафаэлитов объясняется физической и духовной близостью артиста с народом; художники наших дней легко могли бы убедиться в этом, попробовав идти путями Гирландайо, Донателло, Брунеллески и всех деятелей этой

эпохи, в которой творчество в напряженности своей граничило с безумием, было подобно мании, и артист был любимцем народной массы, а не лакеем мецената. Вот как писал в 1298 году народ Флоренции, поручая Арнольфо ди-Лапо построить церковь: «Ты воздвигнешь такое сооружение, грандиознее и прекраснее которого не могло бы представить себе искусство человеческое, ты должен создать его таким, чтобы оно соответствовало сердцу, которое сделалось чрезвычайно великим, соединив в себе души граждан, сплочённых в одну волю».

Когда Чимабуэ окончил свою мадонну — в его квартале была такая радость, такой взрыв восторга, что квартал Чимабуэ получил с того дня название «Borgo Allegro» (весёлый квартал (*ит.*). — *Ред.*). История Возрождения переполнена фактами, которые утверждают, что в эту эпоху искусство было делом народа и существовало для народа, он воспитал его, насытил соком своих нервов и вложил в него свою бессмертную, великую, детски-наивную душу. Это неоспоримо вытекает из показаний всех историков эпохи; даже антидемократ Монье, заканчивая свою книгу, говорит: «Quattrocento показало всё, что человек в состоянии сделать. Оно показало, кроме того, — и этим оно даёт нам урок, — что человек, предоставленный своим собственным силам, отнятый от целого, опираясь только на самого себя и живя только для себя одного, не может совершить всего».

«Искусство и народ процветают и возвышаются вместе, так полагаю я, Ганс Сакс!»

* * *

Мы видим, как ничтожны «совершения» человека наших дней, мы видим горестную пустоту его души, и это должно заставить нас подумать о том, чем грозит нам будущее, посмотреть, чему поучает прошлое, открыть причины, ведущие личность к неизбежной гибели.

С течением времени жизнь принимает всё более жёсткий и тревожный характер борьбы всех со всеми; в этом непрерывном кипении вражды должны бы развиться боевые способности «я», вынужденного неустанно отражать напор себе подобных, и если индивидуальность вообще способна к творчеству, то именно этот бой всех со всеми даёт наилучшие условия для того, чтобы «я» показало миру всю силу своего духа, всю глубину поэтического дара. Однако индивидуальное творчество само не создало пока ни Прометеев, ни даже Вильгельма Телля и ни одного поэтиче-

ского образа, который можно было бы сравнить по красоте и силе с Гераклами седой древности.

Было создано множество Манфредов, и каждый из них разными словами говорил об одном — о загадке жизни личной, о мучительном одиночестве человека на земле, возвышаясь порою до скорби о печальном одиночестве земли во вселенной, что звучало весьма жалостно, но не очень гениально, Манфред — это выродившийся Прометей XIX века, это красиво написанный портрет мещанина-индивидуалиста, который навсегда лишён способности ощущать в мире что-либо иное, кроме себя и смерти перед собою. Если он иногда говорит о страданиях всего мира, то он не вспоминает о стремлении мира уничтожить страдания, если же вспоминает об этом, то лишь для того, чтобы заявить: страдание непобедимо. Непобедимо — ибо опустошённая одиночеством душа слепа, она не видит стихийной активности коллектива, и мысль о победе не существует для неё. Для «я» осталось одно наслаждение — говорить и петь о своей болезни, о своём умирании и, начиная с Манфреда, оно поёт панихиду самому себе и подобным ему одиноким маленьким людям.

Поэзии этого тона присвоено имя «поэзии мировой скорби»; рассматривая её смысл, мы найдём, что «мир» привлечён сюда в качестве прикрытия, за которым прячется не помнящее родства, голое человеческое «я», прячется, дрожит от страха смерти и совершенно искренно кричит о бессмысленности индивидуального существования. Отождествляя себя с живым великим миром, индивидуальность переносит ощущение утраты смысла своего бытия на весь мир: говорит о гордости своим одиночеством и надоедает людям, как комар, требуя их внимания к стонам своей жалкой души.

Эта поэзия иногда сильна, но — как искренний вопль отчаяния она, может быть, красива, но — как проказа в изображении Флобера; она вполне естественна, как логическое завершение роста личности, которая умертвила в своей груди источник бодрости и творчества — чувство органической связи с народом.

Рядом с этим процессом агонии индивидуализма, железные руки капитала, помимо воли своей, снова создают коллектив, сжимая пролетариат в целостную психическую силу. Постепенно, с быстротой, всё возрастающей, эта сила начинает сознавать себя, как единственно призванную к свободному творчеству жизни, как великую коллективную душу мира.

Возникновение этой энергии кажется глазам индивидуалистов тёмною тучею на горизонте, оно их страшит, быть может,

с той же силой, как смерть физическая, ибо в нём скрыта для них необходимость социальной смерти. Каждый из них считает своё «я» заслуживающим особенного внимания, высокой оценки, но демократия, идущая обновить жизнь мира, не хочет подать сим «аристократам духа» милостыню внимания своего; они это знают и потому искренно ненавидят её.

Некоторые из них, будучи хитрее и понимая великое значение грядущего, желали бы встать в ряды социалистов, как законодатели, пророки, командиры, но демос должен понять и неминуемо поймёт, что эта готовность мещан идти в ногу с ним скрывает под собою всё то же стремление мещанина к «самоутверждению своей личности».

Духовно обнищавшая, заплутавшаяся во тьме противоречий, всегда смешная и жалкая в своих попытках найти уютный уголок и спрятаться в нём, личность неуклонно продолжает дробиться и становится всё более ничтожной психически. Чувствуя это, охваченная отчаянием, сознавая его или скрывая от себя самой, она мечется из угла в угол, ищет спасения, погружается в метафизику, бросается в разврат, ищет Бога, готова уверовать в дьявола — и во всех её исканиях, во всей суете её ясно видно предчувствие близкой гибели, ужас перед неизбежным будущим, которое, если и не сознаётся, то ощущается ею более или менее остро. Основное настроение современного индивидуалиста — тревожная тоска; он растерялся, напрягает все силы свои, чтобы как-нибудь прицепиться к жизни, и нет сил, осталась только хитрость, названная кем-то «умом глупцов». Внутренне оборванный, потёртый, раздёрганный, он то дружелюбно подмигивает социализму, то льстит капиталу, а предчувствие близкой социальной гибели ещё быстрее разрушает крохотное, рахитичное «я». Его отчаяние всё чаще переходит в цинизм: индивидуалист начинает истерически отрицать и сжигать то, чему он вчера поклонялся, и на высоте своих отрицаний неизбежно доходит до того состояния психики, которое граничит с хулиганством. Понятие «хулиганство» я употребляю не из желания обидеть уже обиженных и унижить униженных — тяжелее и горше, чем мог бы я, это делает жизнь — нет, хулиганство — просто результат психофизического вырождения личности, неоспоримое доказательство крайней степени её разложения. Вероятно, это — хроническая болезнь коры большого мозга, вызванная недостатком социального питания, болезнь воспринимающего аппарата, который становится всё более тупым, вялым и, всё менее чутко воспринимая впечатления бытия, вызывает, так сказать, общую анестезию интеллекта.

Хулиган — существо, лишённое социальных чувств, он не ощущает никакой связи с миром, не сознает вокруг себя присутствия каких-либо ценностей и даже постепенно утрачивает инстинкт самосохранения — теряет сознание ценности личной своей жизни. Он неспособен к связному мышлению, с трудом ассоциирует идеи, мысль вспыхивает в нём искрами и, едва осветив призрачным, больным сиянием какой-либо ничтожный кусочек внешнего мира, бесплодно угасает. Впечатлительность его болезненно повышена, но поле зрения узко, и способность к синтезу ничтожна; вероятно, этим и объясняется характерная парадоксальность его мысли, склонность к софизмам. «Не время создаёт человека, но человек время», — говорит он, сам себе не веря. «Важны не красивые действия, но красивые слова», — утверждает он далее, подчёркивая этим ощущение своего бессилия. Он обнаруживает склонность к быстрым переменам своих теоретических и социальных позиций, что ещё раз указывает на зыбкость и шаткость его разрушенной психики. Это — личность не только разрушенная, но ещё и хронически раздвоенная — сознательное и инстинктивное почти никогда не сливаются у неё в одно «я». Ничтожное количество его личного опыта и слабость организаторских способностей разума вызывают в этом существе преобладание опыта унаследованного, и оно находится в непрерывной, но вялой, безрезультатной борьбе с тенью своего деда. Его окружают, как Эринии, тёмные и мстительные призраки прошлого, держат в плену истерической возбудимости и вызывают из глубины инстинкта атавистические склонности животного. Его чувственная сфера расшатана, тупа, она настойчиво требует острых и сильных раздражений — отсюда склонность хулигана к половой извращённости, к сладострастию, к садизму. Ощущая своё бессилие, это существо по мере того как жизнь повышает свои запросы к нему, — вынуждено всё более резко отрицать её запросы, откуда и вытекает социальный аморализм, нигилизм и озлобление, типичное для хулигана.

Этот человек всю жизнь колеблется на границе безумия, и социально он более вреден, чем бактерии заразных болезней, ибо, представляя собой психически заразное начало, неустраним теми приемами борьбы, какими мы уничтожаем враждебные нам микроорганизмы.

Основной импульс его бессвязного мышления, странных и часто отвратительных деяний — вражда к миру и людям, инстинктивная, но бессильная вражда и тоска больного; он плохо видит, плохо слышит и потому плетётся, шатаясь, далеко сзади

жизни, где-то в стороне от неё, без дороги и без сил найти дорогу. Он кричит там, но крики его звучат слабо, фразы разорваны, слова тусклы, и никто не понимает его вопля, вокруг него только свои, такие же бессильные и полубезумные, как он, и они не могут, не умеют, не хотят помочь. Но все они злобно, как сам он, плюют вслед ушедшим вперёд, клеветают на то, чего понять не могут, смеются над тем, что им враждебно, а им враждебно всё, что активно, всё, что проникнуто духом творчества, украшает землю славой подвигов своих и горит в огне веры в будущее: «огонь же есть божество, попаляя страсти тленные, просвещая душу чистую», как сказано в стихе Софии Премудрости.

II

Надо ждать, что в близком будущем кто-то, мужественный и честный, напишет грустную книгу «Разрушение личности» и в этой книге ярко покажет нам неуклонный процесс духовного обеднения человека, неустранимое сжимание «я».

В процессе этом решительную роль играл XIX век — он был экзаменом психической устойчивости всемирного мещанства и обнаружил его ничтожные способности к творчеству жизни.

Развитие техники? Конечно — да, это огромная работа. Но о технике можно сказать, что она «сама себе довлеет», ибо она есть опять-таки — результат творчества не личного, а коллективного, она развивается и растёт на фабрике, среди рабочих, в кабинетах же только обобщают, организуют новые данные, добытые коллективом, — опыт масс, не имеющих времени для самостоятельного синтеза своих наблюдений и знаний и принуждённых отдавать всё богатство опыта своего в чужие руки. Открытия в области естествознания, подводя итоги росту техники, тоже лишь формально являются делом личности. Посмотрите, насколько явно коллективный характер носят открытия последнего времени в области строения материи. И несмотря на упорное стремление индивидуализма комбинировать данные естественных наук антидемократически, естествознание не подчиняется этим усилиям исказить его коллективно созданное содержание — оно всё более определённо слагается монистически, постепенно становясь глубоким и мощным фундаментом социализма, — факт, объясняющий крутой поворот буржуазии от естествознания снова к метафизике.

Командующие классы всегда стремились к монополии знания и всячески прятали его от народа, показывая ему кристаллизо-

ванную мысль, только как орудие укрепления своей власти над ним. XIX век разоблачил эту пагубную политику, обнаружив в Европе недостаток интеллектуальной энергии; буржуазия сделала слишком большую работу по развитию промышленности и торговли, она, очевидно, вложила в неё весь свой запас духовных сил — и ясно, что ныне она психически надорвалась.

Народ не приобщали к науке, что необходимо для общего успеха борьбы за жизнь; не приобщали, боясь, что он, вооружённый знанием, откажется работать; не заботились увеличить количество духовной энергии — и недостаток количества привёл мещан к быстрому понижению качества творческих сил.

Жизнь становилась всё сложнее и строже, техника с каждым десятилетием всё ускоряла, и ускоряет, и будет ускорять её ход. От личности, которая хочет занимать командующую позицию, — каждый новый деловой день и год требуют всё большего напряжения сил. Еще в начале прошлого века мещанин, только что освободившийся из тяжёлых пут дворянского государства, был достаточно свеж, силён и хорошо вооружён, чтобы бороться за свой счёт, — условия производства и торговли не превышали единоличных сил. Но по мере роста техники, конкуренции и жадности буржуа, по мере развития в мещанине сознания своего главенства и стремления навеки укрепить за собою эту позицию молотом и штыком, по мере неизбежного обострения анархии производства, увеличивающей трудности разрешения этих задач, — растёт и несоответствие индивидуальных сил с запросами дела. Бешеная работа нервов вызывает истощение, односторонне упражняемое мышление делает человека уродом, создаётся психика крайне неустойчивая; мы видим, как растёт среди буржуазии неврастения, преступность и наблюдаем типичных вырожденцев уже в третьих поколениях буржуазных семей. Замечено, что процесс дегенерации наиболее успешно развивается среди буржуазных семей России и Америки. Эти исторически молодые страны наиболее быстрого капиталистического развития дают огромный процент психических заболеваний среди финансовой и промышленной буржуазии. Здесь, очевидно, сказывается недостаток исторической тренировки, люди оказываются слишком слабосильными перед капиталом, который, являсь к ним во всеоружии, поработил их и быстро исчерпывает недостаточно гибко развитую энергию. Специализируясь, человек необходимо ограничивает рост своего духа, но специальность неизбежна для мещанина, он должен неустанно ткать свою однообразную паутину, если хочет жить. Анархия — вот признанный

и неоспоримый результат мещанского творчества, и именно этой анархии мы обязаны всё острее ощущаемой убылью души.

Быстро истощая небольшой запас интеллектуальных сил мещанства, капитал организует рабочие массы и в лице их ставит перед мещанином новую враждебную силу; этот враг более настойчиво, чем все иные причины, понуждает капиталиста чувствовать силу коллектива, внушая ему новую тактику борьбы, — локауты и тресты.

Но капиталистические организации необходимо суживают личность; подчиняя её индивидуалистические стремления своим целям, подавляя инициативу, они развивают в личной психике пассивность.

Миллионер Гульд метко определил трест как группу непримиримых врагов, которые «собрались в одной тесной комнате, ярко осветили её, держат друг друга за руки, только поэтому не убивают один другого. Но каждый из них зорко ждёт момента, когда можно будет напасть врасплох на временного и невольного союзника, обезоружить, уничтожить его, и каждому — друг рядом с ним кажется опаснее врага за стеною». В такой организации врагов силы личности не могут развиваться, ибо, несмотря на внешнее единство интересов, внутреннее здесь — каждый сам по себе и сам для себя. Организация рабочих ставит своей целью борьбу и победу; она внутренне спаяна единством опыта, который постепенно и всё определённое сознаётся ею как великая монистическая идея. Здесь под влиянием организующей силы коллективного творчества идей психика личности строится своеобразно-гармонично: существует непрерывный обмен интеллектуальных энергий, и среда не стесняет роста личности, но заинтересована в свободе его, ибо каждая личность, воплотившая в себе наибольшее количество энергии коллектива, становится проводником его веры, пропагандистом целей и увеличивает его мощь, привлекая к нему новых членов. Организация капиталистов психически строится по типу «толпы»: это группа личностей, временно и непрочно связанных единством тех или иных внешних интересов, а порою единством настроения — тревогой, вызванной ощущением опасности, жадностью, увлекающей на грабёж. Здесь нет творческой, т. е. социальной связующей идеи и не может быть длительного единства энергии — каждый субъект является носителем грубо и резко очерченного самодовлеющего «я»; нужно много сильных давлений и могучих толчков извне, чтобы углы каждого «я» сгладились, и люди могли сложиться в целое, более или менее стройное и прочное. Здесь каждый является

вместилищем некоего мелкого своеобразия, каждый ценит себя как нечто совершенное, чему не суждено повториться, и, принимая своё духовное уродство, свою ограниченность за красоту и силу, — каждый напряжённо подчёркивает себя и отъединяет от других. В такой анархической среде уже нет места и нет условий для развития ценного и целостного «я»; в ней не может гармонично развиваться и свободно расти всеобъемлющая личность, неразрывно связанная со своим коллективом, непрерывно насыщаемая его энергией и гармонично организующая его живой опыт в формы идей и символов.

Внутри такой среды идёт хаотический процесс всеобщего пожирания: человек человеку враг, каждый рядовой грязной битвы за сытость сражается в одиночку, поминутно оглядываясь в опасении, чтоб тот, кто стоит рядом, не схватил за горло. В этом хаосе однообразной и злой борьбы лучшие силы интеллекта, как уже сказано, уходят на самозащиту от человека, творчество духа целиком расходуется на устройство маленьких хитростей самообороны, и продукт человеческого опыта, именуемый «я», становится тёмной клеткой, в коей бьётся некое маленькое желание не допускать дальнейшего расширения опыта, ограничивая его тесными и крепкими стенками этой клетки. Что нужно человеку кроме сытости? В погоне за нею он вывихнул себе мозг, разбился и стонет, и кричит в агонии.

Личные мелкие задачи каждого «я» заслоняют собой сознание общей опасности. Обессилевшее мещанство уже не способно выдвигать из своей среды достаточно энергичных выразителей его желаний, защитников его власти, как в своё время выдвинуло Вольтера против феодалов, Наполеона против народа.

Обнищание мещанской души доказывается тем, что идеологические попытки мещан, ранее имевшие целью укрепить данный строй, ныне сводятся к попыткам оправдать его, становятся всё хуже и бездарнее. Уже давно ощущается нужда в новом Канте — его всё нет, а Ницше — неприемлем, ибо он требует от мещанина активности. Единственным орудием самозащиты мещанства является цинизм; он — страшен, знаменует собою отчаяние и безнадежность.

Но, скажут, несмотря на слабость материала, капиталистическое общество держится крепко. Держится тяжестью своей, по инерции и при помощи таких контрфорсов, замедляющих его тяготение к распаду, каковы полиция, армия, церковь и система школьного преподавания. Держится потому, что ещё не испытало стройного напора враждебных ему сил, достаточно органи-

зованных для разрушения этой огромной пирамиды грязи, лжи и злобы, и всяческого несчастья. Держится, но... разлагается, отравляемое выработанными им ядами, из них же первый — нигилистический, всё, кроме «личности» и «самости», — с отчаянием отрицающий индивидуализм.

Но обеднение личности ещё более заметно, если мы взглянем на её портреты в литературе.

До 1848 года командующую роль в жизни играли Домби и Грандэ, фанатики стяжания, люди крепкие и прямые, как железные рычаги. В конце XIX века их сменяют не менее жадные, но несравненно более нервные и шаткие Саккар и герой пьесы Мирбо «*Les affaires sont les affaires*».

Сравнивая каждый из этих типов как поток воли, направленной к достижению известных целей, мы увидим, что чем глубже в прошлое, тем более крепко концентрирована и активна воля, тем строже и определённое очерчены цели личности и ярче сознательность её действия. А чем ближе к нам, тем менее упорна энергия Саккаров, тем скорее изнашивается их нервная система, всё более тусклы характеры и быстрее наступает утомление жизнью. В каждом из них заметна драма двойственности, столь пагубная для человека дела. Гибнут Саккары гораздо более быстро, чем гибли их предки. Домби погубил Диккенс для торжества морали, для доказательства необходимости умерить эгоизм, Саккары и Рошеры гибнут не по воле Золя — их обессиливает и уничтожает беспощадная логика жизни.

* * *

Переходя от литературы к «живому делу», снова сошлюсь на старого Гульда: умирая, он сказал: «Если бы я неправильно и незаконно нажил мои миллионы, их давно отняли бы у меня». Здесь звучит вера сильного в силу как закон жизни. Наш современник мистер Д. Рокфеллер уже считает необходимым жалобно и жалко оправдываться пред всем миром в непомерном своём богатстве, он доказывает, что обворовал людей ради их же счастья. Разве это не ярко рисует понижение типа?

Далее, в лице героя «*Rouge et noir*» (*фр.* — «Красное и чёрное». — *Ред.*), перед нами человек сильной воли, грубый мещанин-победитель. Но уже на следующем плане ближе к нам стоит Растиньяк Бальзака; жадный, слабовольный, он изнашивается позорно быстро и погибает, вышвырнутый за двери жизни, хотя среда сопротивлялась его желаниям не так упорно, как она со-

противлялась герою Стендаля. Люсьен ещё менее устойчив, чем Растиньяк, но вот Люсьена сменяет «*Bel ami*» (*фр.* — «Милый друг». — *Ред.*), прототип современных государственных людей Франции. «*Bel ami*» победил, он у власти. Но до какой же степени упала способность мещан к самозащите, если они вручают судьбы свои в руки столь ненадёжных людей!

Когда, опираясь на силу народа, мещанство победило феодалов, а народ немедленно и настойчиво потребовал от победителей удовлетворения своих реальных нужд, мещанство испугалось, видя перед собою нового врага, — старая сказка, вечно и всё чаще обновляемая мещанином. Испугавшись, мещанин круто повернул от идей свободы к идее авторитета и отдал себя сначала Наполеону, затем — Бурбонам. Но внешнее сплочение, внешняя охрана не могли остановить процесс внутреннего развала.

Строй взглядов мещанина, его опыт, обработанный Монтескьё, Вольтером, энциклопедистами, имел в самом себе нечто дисгармоничное и опасное — разум, который говорил, что все люди равны, и, опираясь на силу коего, народные массы снова, уже в более настойчивой форме, могли предъявить требование полного политического равенства с мещанином, а затем приняться за осуществление равенства экономического.

Таким образом, разум резко противоречит интересам мещанства, и оно, не медля, принялось изгонять врага, ставя на его место веру, которая всегда успешнее поддерживает авторитет. Стали доказывать общую неразумность миропорядка — это хорошо отвлекает от мышления о неразумности порядка социального. Мещанин ставил себя в центр космоса, на вершину жизни, и с этой высоты осудил и проклял вселенную, землю, а главным образом — мысль, пред которой он ещё недавно идолопоклонствовал, как всегда, заменяя непрерывное исследование мёртвым догматизмом.

В речах Байрона звучал протест старой аристократической культуры духа, пламенный протест сильной личности против мещанского безличия, против победителя, серого человека золотой середины, который, зачеркнув кровавой, жадной лапой 93-й, хотел восстановить 89-й, но против воли своей вызвал к жизни 48-й. Уже в 20-х годах столетия «мировая скорбь» Байрона превращается у мещан в то состояние психики, которое Петрарка называл «*Acedia*» — кислота и которое Фойгт определяет как «вялое умственное равнодушие». Наш талантливый и умный Шахов, может быть, несколько упрощённо говорит об этом вре-

мени: «Пессимизм 20-х годов сделался модой: скорбел всякий дурак, желавший обратить на себя внимание общества».

Мне кажется, что у «дурака» были вполне серьёзные причины для скорби — он не мог не чувствовать, как неизбежно новые условия жизни, ограничивая развитие его духовных сил, направляя их в тесное русло всё более растущего торгашества, — как эти условия, действительно, дурманят, одурачивают, унижают его.

Ролла Мюссе ещё кровный брат Манфреда, но «сын века» уже явно и глубоко поражён «Acedia», Рене Шатобриана мог убежать от жизни, «сыну века» некуда бежать — кроме путей, указанных мещанством, иных путей нет для его сил.

Мы видим, что «Исповедь сына века» бесчисленно и однообразно повторяется в целом ряде книг, и каждый новый характер этого ряда становится все беднее духовной красотой и мыслью, всё более растрёпан, оборван, жалок. Грелу Бурже — дерзок, в его подлости есть логика, но он именно «ученик»; герой Мюссе мыслил шире, красивее, энергичнее, чем Грелу. Человек «без догмата» у Сенкевича ещё слабее силами, ещё одностороннее Грелу, но как выигрывает Леон Плошовский, будучи сопоставлен с Фальком Пшибышевского, этой небольшой библиотекой модных, наскоро и невнимательно прочитанных книг.

Ныне линия духовно нищих людей обидно и позорно завершается Саниным Арцыбашева. Надо помнить, что Санин является уже не первой попыткой мещанской идеологии указать тропу ко спасению неуклонно разрушающейся личности, и до книги Арцыбашева не однажды было рекомендовано человеку внутренне упростить себя путём превращения в животное.

Но никогда эти попытки не возбуждали в культурном обществе мещан столько живого интереса, и это несомненно искреннее увлечение Саниным — неоспоримый признак интеллектуального банкротства наших дней.

* * *

Защищая свою позицию в жизни, индивидуалист-мещанин оправдывает свою борьбу против народа обязанностью защищать культуру, обязанностью, якобы возложенною на мещанство историей мира.

Позволительно спросить: «Где же культура, о близкой гибели которой под ногами новых гуннов всё более часто и громко плачет мещанство?» Как отражается в душе современного «героя» мещан всемирная работа человеческого духа, «наследство веков»?

Пора мещанству признать, что это «наследство веков» хранится вне его психики; оно в музеях, в библиотеках, но — его нет в духе мещанина. С позиции творца жизни мещанин ныне опустился до роли дряхлого старика у кладбища мёртвых истин.

И уже нет у него сил ни для того, чтобы оживить отжившее, ни для создания нового.

Современный изолированный и стремящийся к изоляции человек — это существо более несчастное, чем Мармеладов, ибо поистине некуда ему идти, и никому он не нужен! Опьянённый ощущением своей слабости, в страхе перед гибелью своей, какую ценность представляет он для жизни, в чем его красота, где человеческое в этом полумёртвом теле с разрушенной нервной системой, с бессильным мозгом, в этом маленьком вместилище болезней духа, болезней воли, только болезней?

Наиболее чуткие души и острые умы современности уже начинают сознавать опасность: видя разложение сил человека, они единогласно говорят ему о необходимости обновить, освежить «я» и дружно указывают путь к источнику живых сил, способному вновь возродить и укрепить истощённого человека.

Уотт Уйтман, Горас Траубед, Рихард Демель, Верхарн и Уэллс, Анатолий Франс и Морис Метерлинк — все они, начав с индивидуализма и квиетизма, дружно приходят к социализму, к проповеди активности, все громко зовут человека к слиянию с человечеством. Даже такой идолопоклонник «я», как Август Стриндберг, не может не отметить целительной силы человечества. «Человечество, — говорит он, — ведь это огромная электрическая батарея из множества элементов; изолированный же элемент — тотчас теряет свою силу».

Но эти добрые советы умных людей едва ли услышат глухие. И если услышат — какая польза от этого? Чем отзовется безнадежно больной на радостный зов жизни? Только стоном.

* * *

Наиболее ярким примером разрушения личности стоит предомною драма русской интеллигенции. Андриевич-Соловьёв назвал эту драму романом, в котором Россия — «Святая Ефросинья», как именовал её Глеб Успенский, — возлюбленная, а интеллигент — влюблённый.

Мне хочется посылить очертить содержание той главы романа, вернее, акта драмы, которая столь торопливо дописывается в наши дни нервно дрожащею рукою разочарованного влюблённого.

Чтобы понять психику героя, сначала необходимо определить его социальное положение.

Известно, что интеллигент-разночинец несколько недоношен историей; он родился ранее, чем в нём явилась нужда, и быстро разросся до размеров бóльших, чем требовалось правительству и капиталу, — ни первое, ни последний не могли поглотить всё свободное количество интеллектуальных сил. Правительство, напуганное дворянскими революциями дома и народными бурями за рубежом, не только не выражало желания взять интеллигента на службу и временно увеличить его умом и работой свои силы, оно, как известно, встретило новорождённого со страхом и немедля приступило к борьбе с ним по способу Ирода.

Молодой, но ленивый и стеснённый в своём росте русский капитал не нуждался в таком обилии мозга и нервов.

Позиция интеллигента в жизни была столь же неуловима, как социальное положение бесприютного мещанина в городе: он не купец, не дворянин, не крестьянин, но — может быть и тем, и другим, и третьим, если позволят обстоятельства.

Интеллигент имел все психофизические данные для сращения с любым классом, но именно потому, что рост промышленности и организация классов в стране развивались медленнее количественного роста интеллигенции, он принуждён был самоопределиваться вне рамок социально-родственных ему групп. Перед ним и разорённой крестьянской реформой «кающимся дворянином» стояли незнакомые западному интеллигенту острые вопросы:

— Куда идти? Что делать?

Необходимо было создать какую-то свою, идеологическую мещанскую управу, и она была построена в виде учения «о роли личности в истории», которое гласило, что общественные цели могут быть достигнуты исключительно в личностях.

Единственно возможное направление было ясно: надо идти в народ, дабы развить его правосознание и, увеличив свои силы за счёт его энергии, понудить правительство к дальнейшим реформам и ускорить темп культурного развития страны; это могло бы дать тысячам личностей вполне уютное и достойное их место в жизни.

Тот факт, что интеллигенту некуда было идти, кроме как «в народ», и что «герой» искал «толпу», понуждаемый необходимостью, не особенно чётко отмечен русской литературой, но зато в ней множество гимнов герою, который «во имя великой святыни» отдавал свою жизнь трудовому делу организации народных сил.

Раздвоение психики интеллигента началось во дни его ранней юности, с того момента, когда он был поставлен в необходимость принять как руководящую теорию социализм.

Сознание организует далеко не всю массу личного опыта, и редкие люди могут победоносно противопоставить результаты своих личных впечатлений бытия той крепкой социальной закваске, которая унаследована ими от предков. Устойчива и продуктивна в творчестве лишь та психика, в которой сознание необходимости гармонично сливается с волей человека, с его верою в целостное, крепкое «я». Помимо того, что общие социально-экономические условия жизни строят нашу психику индивидуалистически, частные причины домашнего характера значительно увеличивали тяготение русского интеллигента в эту сторону, настойчиво внушая ему сознание его культурного первенства в стране. Он видел вокруг себя правительство, занятое исключительно делом самозащиты, земельное дворянство, экономически и психически разлагавшееся, промышленный класс, который не спешил организовать свои силы, продажное и невежественное чиновничество, духовенство, лишённое влияния, подавленное государством и тоже невежественное.

Естественно, что интеллигент почувствовал себя свежее, моложе, энергичнее всех, залюбовался собою и несколько переоценил свои силы.

Весь этот груз тяжёлых, жадных и ленивых тел лежал на плечах таинственного мужика, который в прошлом выдвигал Разиных и Пугачёвых, недавно выдал у дворян земельную реформу и с начала века стал развивать в своей среде рационалистические секты.

Земельное дворянство, чувствуя, что с запада всё сильнее веет пагубный для него дух промышленного капитализма, старалось оградить Россию частоколом славянофильства; его работа внушила интеллигенту убеждение в самобытности русского народа, чреватой великими возможностями. И вот, наскоро вооружась «социализмом по-русски», в этих лёгких доспехах рыцарь встал лицом к лицу с тёмным, добродушным и недоверчивым русским мужиком. Но почему же он, резкий индивидуалист, принял теорию, враждебную строю его психики? — А какие же иные дрожжи могли бы поднять густую и тяжёлую опару народной массы?

Здесь на примере, неотразимо ярком, мы видим плодотворное влияние социальной идеи на психику личности: мы видим, как эта идея с чудесной быстротою превратила бесприютного разночинца интеллигента в идеалиста и героя, видим, как печальное

детище рабьей земли, ощутив творческую силу коллективного начала, психически сложилось под его чудотворным влиянием в тип борца, редкий по красоте и энергии. 70-е годы стоят перед нами как неоспоримое доказательство такого факта: только социальная идея возводит случайный факт личного бытия человека на степень исторической необходимости, только социальная идея поэтизирует личное бытие и, насыщая единицу энергией коллективной, придаёт бытию индивидуальному глубокий, творческий смысл.

Герой был разбит и побеждён?

Да. Но разве это уничтожает необходимость и красоту борьбы? И разве это может поколебать уверенность в неизбежности и победы коллективного начала?

Герой был побеждён — слава ему вовеки! Он сделал всё, что мог.

Человек вчерашнего дня, он встал перед мужиком, который имел свою историю — тягостную и долгую историю борьбы с непрерывными дьявольскими кознями нечистой силы, воплощённой в лесах, болотах, татарах, боярах, чиновниках и вообще — господах. Он крепко оградился от беса, источника всех несчастий, полуязыческой, полухристианской религией и жил скрытной жизнью много испытавшего человека, который готов всё слушать, но уже никому не верить.

Наша литература посвятила массы творческой энергии, чтобы нарисовать эту таинственную фигуру во весь рост, бесконечное количество анализа, чтобы раскрыть, осветить душу мужика. Дворяне изображали его боголюбивым христианином, насквозь пропитанным кротостью и всепрощением — это естественно с их стороны, ибо, столь много согрешив перед ним, дворяне, может быть, вполне искренно нуждались в прощении мужика.

Литература старых народников рисовала мужичка раскрашенным в красные цвета и вкусным, как вяземский пряник, коллективистом по духу, одержимым активной жаждою высшей справедливости и со священной радостью принимающим каждого, кто придёт к нему «сеять разумное, доброе, вечное».

И лишь в 90-х годах В. Г. Короленко ласковою, но сильной рукой великого художника честно и правдиво нарисовал нам мужика, действительно, во весь рост, дал верный очерк национального типа в лице ветлужского мужика Тюлина. Это именно национальный тип, ибо он позволяет нам понять и Мининых, и всех ему подобных героев на час, всю русскую историю и её странные перерывы. Тюлин — это удачливый Иванушка-дура-

чок наших сказок, но Иванушка, который уже не хочет больше ловить чудесных Жар-Птиц, зная, что сколько их ни поймай, господишки всё отнимут. Он уже не верит Василисе Премудрой: неизмеримое количество бесплодно затраченной силы поколебало сказочное упорство в поисках счастья. Думая о Тюлине, понимаешь не только наших Мининых, но и сектантов: Сютаева и Бондарева, бегунов и штунду, а чувствительный и немножко слабоумный Платон Каратаев исчезает из памяти вместе с Акимом и другими юродивыми, дворянского успокоения ради, вместе с милыми мужичками народников и иными образами горячо желаемого, но — не реального.

Пропагандист новых форм культуры встретился с Тюлиным; Тюлин не встал с земли, не понял интеллигента и не поверил ему — вот, как известно, драма, разбившая сердце нашего героя.

Немедленно вслед за этим поражением на открытии памятника Пушкину прозвучала похоронная речь Достоевского, растравляя раны побеждённых, как соль, а вслед за этим раздался мрачный голос Толстого. После гибели сотен юных и прекрасных людей, после десятилетия героической борьбы величайшие гении рабьей земли в один голос сказали:

— Терпи.

— Не противься злу насилием.

Я не знаю в истории русской момента более тяжёлого, чем этот, и не знаю лозунга более обидного для человека, уже заявившего о своей способности к сопротивлению злу, к бою за свою цель.

Восьмидесятые годы наметили три линии, по коим интеллигент стремился к самоопределению: народ, культуртрегерство и личное самоусовершенствование. Эти линии сливались, стройно замыкаясь в некий круг: народ продолжали рассматривать как силу, которая, будучи организована и определённо направлена интеллигенцией, может и должна расширить узкие рамки жизни, дать в ней место интеллигенту; культуртрегерство — развитие и организация правосознания народа; самоусовершенствование — организация личного опыта, необходимая для дальнейшей продуктивности «мелких дел», направленных на развитие народа.

Но под этой внешней стройностью бурно кипел внутренний душевный разлад. Из-под тонких, изношенных масок социализма показались разочарованные лица бесприютных мещан — крайних индивидуалистов, которые не замедлили из трёх линий остановиться на одной и с жаром занялись упорядочением потрясённых событиями душ своих. Начался усердный анализ пережитого, остатки старой гвардии называли аналитиков «ни-

кудышниками» и «Гамлетами «на грош пара», как выразился автор одного искреннего рассказа, помещенного в «Мысли» Л. Оболенского. Новодворский метко назвал интеллигента тех дней «ни павой, ни вороной». Но скоро эти голоса замолкли в общем шелесте «самоусовершенствования», и русский интеллигент мог беспрепятственно «ставить ребром последний двугривенный своего ума», привычка, которую отметил в нём ещё Писарев.

Он, не щадя сил, торопился поправёт и, так же судорожно, как и в наши дни, рвал путы социализма, стремясь освободить себя, — для чего? Только для того, чтобы в середине 90-х годов, когда он усмотрел в жизни страны новый революционный класс, снова быстро надеть эти путы на душу свою, а через десять лет снова и столь же быстро сбросить их! «Сегодня блондин, завтра — брюнет», — грустно и верно сказал о нём Н. К. Михайловский.

Итак, он начал правёт. Этим занятием сильно увлекались, и оно даёт целый ряд курьёзных совпадений, которые нелицеприятно указывают на единство психики интеллигента того времени и текущих дней с тою разницею, что восьмидесятник был более скромнен, не так «дерзок на руку» и груб, как наш современник.

Приведу несколько мелких примеров этих совпадений: почтенный П. Д. Боборыкин напечатал в «Русской мысли» 80-х годов рассказ «Поумнел»; рассказ, в котором автор осуждал героя своего за измену ещё недавно «святым» идеалам.

Г. Емельянченко в одной из книжек «Вестника Европы» за 1907 год поместил рассказ «Поправел», но — одобряет своего героя, социалиста и члена комитета партии, за то, что герой пошёл служить в департамент какого-то министерства.

Шум, вызванный «Учеником» Бурже, как нельзя более похож на восхищение, вызванное «Номо Sapiens» ом» Пшибышевского.

Внимание к «Сашеньке» Дедлова прекрасно сливается с увлечением «Саниным» — с тою разницею, что Сашенька в наглости своей наивнее Санина.

Политические эволюции г. Струве невольны заставляют вспомнить «эволюцию» Льва Тихомирова, а момент, когда г. Струве позвал «назад к Фихте», вызывает в памяти недоумение, вызванное г. Волынским с его проповедью идеализма (Разумеется, я принимаю, что 90-е годы психически начались ранее 1 января 1890 г., а 80-е ещё не кончились 30 декабря 1889 г. — календарь и психика всегда находятся в некотором разноречии).

Порнографии было меньше, она сочинялась только гг. Серафимом Неженатым и Лебедевым-Морским, но так же гадко и тяжело, как и современными ремесленниками этого цеха.

Пунктом объединения ренегатов явилось «Новое время»; в наши дни мы имеем несколько таких пунктов — указывает ли это на количественный рост интеллигенции, или же на упадок ее силы сопротивления соблазнам уютной жизни?

«Неделя» Меншикова идейно воскресла в лице «Русской мысли»; проповедь «мелких дел» уже стократ повторена ныне, и тысячекратно повторяется лозунг восьмидесятников: «Наше время — не время широких задач».

Эти до мелочей доходящие совпадения достаточно определённо подтверждают факт стремления интеллигента после каждой встречи с народом «возвратиться на круги своя» — от разрешения проблемы социальной к разрешению индивидуальной проблемы.

* * *

В восьмидесятых годах жизнь была наполнена торопливым подбором книжной мысли; читали Михайловского и Плеханова, Толстого и Достоевского, Дюринга и Шопенгауэра, все учения находили прозелитов и с поразительной быстротою раскалывали людей на враждебные кружки. Я особенно подчёркиваю быстроту, с которою воспринимались различные вероучения; в этом ясно сказывается нервная торопливость одинокого и несильного человека, который в борьбе за жизнь свою хватает первое попавшееся под руку оружие, не соображая, насколько оно ему по силе и по руке. Этой быстротою усвоения теории не по силам и объясняются повальные эпидемии ренегатства, столь типичные для восьмидесятых годов и для наших дней. Не надо забывать, что эти люди учатся не ради наслаждения силою знания — наслаждения, которое властно зовёт на борьбу за свободу ещё большего, бесконечного расширения знаний, учатся они ради узко эгоистической пользы, ради всё того же «утверждения личности».

«Радикалы» превращались в «непротивленцев», «культурники» в «никудашников» — и один из честнейших русских писателей, святой человек Николай Елпидифорович Петропавловский-Каронин говорил, конфузливо потирая руки:

— Чем им поможешь? Ничем не поможешь! Потому что как-то не жалко их, совсем не жалко!

Так же, как и теперь, развивался пессимизм; гимназисты так же искренно сомневались в смысле бытия вселенной, было много самоубийств по случаю «мировой тоски»; говорили о религии, о Боге, но находили и другой выход своему бессилию,

скрывая его в стремлении «опроститься», и «садились на землю», устраивая «интеллигентские колонии».

Быть может, жизнь этих колоний наиболее ярко вскрывает злейший, нигилистический, наш самобытный индивидуализм: в них с поразительной быстротой выявлялась органическая неспособность интеллигента к дисциплине, к общежитию, и немедленно чёрным призраком вставала роковая и отвратительная спутница русского интеллигента — позорно низкая оценка человеческого достоинства ближнего своего. Драма этих колоний начиналась почти с первых дней их основания: как только группа устремлённых к «опрощению» людей начинала устраиваться «на земле» — в каждом из них разгоралось зелёным огнём болезненное, истерическое ощущение своей «самости» и «ячности». Люди вели себя так, как будто с них содрали кожу, обнажили нервы и каждое соприкосновение друг с другом охватывает всё тело невыносимую жгучую болью. «Самосовершенствование» принимало характер каннибальства — утверждая некую мораль, люди во истину живьём ели друг друга. Острое ощущение своей личности вызывало в человеке истерическое неистовство, когда он видел столь же повышенную чуткость и в другом. Создались отношения, полные враждебного надзора друг за другом, болезненной подозрительности, кошмарные отношения, насыщенные лицемерием иезуитов. В несколько месяцев физически здоровые люди превращались в неврастеников и, духовно изломанные, расходились, унося более или менее открытое презрение друг к другу.

Мне кажется, что эти тяжкие драмы слагались так: представьте себе людей, которые считают себя лучшей силой земли, людей с развитой потребностью широкой духовной жизни. Подавляя эту потребность, они идут в тёмную, плохо знакомую им деревню и с первого шага попадают в круг явной и скрытой вражды к ним, «барам». Их теснит и душит насмешливое любопытство, подозрительность, недоброжелательство, оскорбляют презрительные улыбки мужиков при виде их неумения работать, физической слабости и неспособности открыть, понять его мужицкую, глубоко спрятанную душу. Первобытно-грубая жизнь тянется изо дня в день с однообразием, которое давит интеллигента, хочет стереть его нервное лицо и уже медленно стирает тонкий слой европейской культуры с лица его души... Летом — каторжная работа и пожары, зимою — недоедание, болезни, по праздникам — пьянство и драки, и всегда перед глазами этот тяжёлый, суеверный мужик. То назойливый попрошайка, то озорник и грубиян, он часто кажется близким животному и — вдруг поражает мет-

ким словом мудреца, верным суждением о порядках жизни, о себе самом, и стоит уже полный неожиданно возникшим откуда-то из глубины его души сознанием своего достоинства. Он — неуловим, непонятен и внушает интеллигенту спутанное чувство робости перед ним, удивления и ещё каких-то ощущений, которые интеллигенту не хочется и трудно определить, но в которых мало лестного для мужика. Колонисты чувствуют себя жертвами какой-то ошибки, но гордость не позволяет им вскрыть её. Заключённые в одном доме, они живут всегда на виду друг у друга, и каждый напрягается, стараясь скрыть от других тихий, но настойчивый рост разочарования в своей задаче, в своих силах. Однако постепенно убыль души ощущается всеми, тогда каждый хочет проверить это опытами над товарищем.

За поведением и мыслью каждого устанавливается, по общему молчаливому соглашению, придирчивый надзор. Если чей-либо поступок нарушает принятую аскетическую норму — люди сладострастно судят и медленно распинают виновного, жадно наслаждаясь ролью истязателей. После суда отношения принимают ещё более извращённый характер, в них скопляется ещё больше лицемерия: под внешнею кротостью кипит и всё растёт неприязнь, перерождаясь в ненависть.

«Барская колония» организовалась на глазах Н. Е. Каронина, при его участии; за жизнью её он внимательно наблюдал. В то время как он писал о ней свой грустный рассказ, он говорил, смущённо улыбаясь:

— Оправдать их хочется, а — нечем оправдать! Слабые люди? Но — какое же это оправдание!

Может быть, здесь уместно будет указать, что наш интеллигентный индивидуализм неизбежно приводит людей в болезненное состояние, в высшей степени родственное истерии.

Признаки истерического состояния легко открыть у всех современных идеологов индивидуализма, будут ли это мистики, анархисты, христиане типа Мережковского и типа Свенцицкого, — для всех их одинаково характерна чрезмерно лёгкая возбудимость психического аппарата, быстрая смена его возбуждений, настроения угнетающего свойства, отрывочный ход идей, социальная тупость и непосредственно рядом с нею настойчивое стремление больного обратить стопами и криками своими внимание окружающих на него, на его в большинстве случаев вымышленные болевые ощущения.

Как иначе можно было бы объяснить недавнюю выходку одного из защитников культуры от нашествия «хама» — г. Мереж-

ковского, который прокричал на страницах «Русской мысли» нижеследующую, едва ли допустимую для культурного человека, фразу: «— Разве умер Джордано Бруно? Ещё бы не умер, издох, как пёс, хуже пса, потому что животное не знает, по крайней мере, что с ним делается, когда умирает, а Джордано Бруно знал».

Хорошо здесь «потому что», столь ярко вскрывающее основной тон «я» — безумный страх личного уничтожения, страх, который был неведом Джордано Бруно и никому из людей, которые умели любить. Этот страх физического уничтожения вполне естествен у людей, ничем не связанных с жизнью, и, разумеется, было бы бесполезно требовать от гг. Мережковских уважения к великим именам и великим подвигам; может ли быть это уважение в душе человека, который сам сознаётся;

«Говоря откровенно, мне бы хотелось, чтобы с моим уничтожением — всё уничтожилось; впрочем, так оно и будет: если нет личного бессмертия, то со мною для меня всё уничтожится».

Ясно, что столь низкий строй души низводит «я» на плоскость, с которой он уже не может заметить разницы между смертью на костре и потоплением в помойной яме, между великой душой, любовно обнявшей весь видимый мир, и собою-микроорганизмом, носителем психической заразы.

И когда люди типа г. Мережковского кричат и ноют о необходимости защиты «культурных ценностей», «наследства веков», то им не веришь.

Странные эти существа. Они суетливо кружатся у подножия самых высоких колоколен мира, кружатся, как маленькие собачки, визжат, лают, сливая свои завистливые голоса со звоном великих колоколов земли; иногда от кого-нибудь из них мы узнаём, что кто-то из предков Льва Толстого служил в некоем департаменте, Гоголь обладал весьма несимпатичными особенностями характера, узнаем массу ценных подробностей в таком же духе, и хотя, может быть, всё это правда, но — такая маленькая, пошлая и ненужная.

* * *

Продолжая параллель между 80-ми годами и текущим моментом, надо заметить, что интеллигентское «я» того времени было всё-таки более чутким этически, — в нём ещё заметна здоровая брезгливость юности, оно не проповедовало педерастии и садизма, не смаковало картины насилия женщин, хотя этому, может быть, мешала только цензура? Оно «правело», сконфужено

оглядываясь, а становясь «правым», — стыдилось клеветать на бывших товарищей так цинично, как это делается теперь.

Интеллигент в этой стыдливости и нерешительности показать себя доходил даже до следующего: когда уже в <18>92 году вышла книжка «Вопросов философии и психологии» со статьями Лопатина, Грота и, кажется, Трубецкого или Введенского о Ницше, многие из молодёжи того времени, стараясь скрыть своё желание познакомиться со взглядами еретика, антисоциалиста, читали книжку тайно, как бы боясь оскорбить своих учителей, старых радикалов, заставлявших читать Чернышевского и Лаврова, Михайловского и Плеханова. Разумеется, это смешно, в этом чувствуется слишком ничтожное сознание своего достоинства и своей внутренней свободы, но, может быть, в душу человека тех дней сквозь хлам разрушенной жизни ещё просачивалось инстинктивное ощущение спасительности старого пути к народу, к массе, к созданию оплодотворяющего личность коллектива — прямого пути от демократизма к социализму.

В ту пору, как и ранее, интеллигент ясно видел, что в стране нет хозяина. Смутное чувство в необходимости немедленного и энергичного решения социальных задач ещё тлело в нём, и, как ранее, он продолжал сознавать себя единственным носителем интеллектуальной энергии страны.

На рынке жизни он был более, чем теперь, «продуктом без спроса»: правительство ещё озлобленнее, чем раньше, отрицало его, земство и капитал не могли использовать эту силу в той мере, какой требовали уже изменившиеся условия жизни — рост фабрики и развитие культурных запросов деревни.

Взгляд на эпоху 80-х годов как на время квиетизма, пессимизма и всяческого уныния несколько преувеличен, мне кажется, хотя, может быть, это лишь потому, что наше «сегодня» решительно хуже вчерашнего дня, ибо ко всем прелестям накопленного ныне присоединён ещё и возродившийся грубый, уличный нигилизм, переходящий уже в явное хулиганство. Если вспомнить работу «третьего элемента» в земствах, Вольно-экономическом обществе и комитетах грамотности, исследования по вопросам об артелях, о местных и отхожих промыслах — мы увидим перед собою массу чёрного труда, который потребовал немало усилий, и культурная ценность коего — вне спора.

Разумеется, и тогда, как теперь, прежде всего стремились подчеркнуть своё маленькое разногласие с другом и часто забывали о враге, и тогда каждый хотел выделить свою крошечную личность из ряда вполне подобных ей, но всё это не носило столь анар-

хического и противного вида, как в наши дни. Это не голословно и опирается на сравнение литератур того и данного момента.

Возьмём Меньшикова, которого нынче злее всех ругают те, кто становится этически похож на него, и ругают главным образом именно за это всё возрастающее сходство; каков бы ни был Меньшиков теперь, но в ту пору его работа имела неоспоримое культурное значение: он отвечал запросам наиболее здоровой и трудоспособной группы интеллигенции того времени — городским и сельским учителям. Сравните вариации на тему проповеди «мелких дел» у г. Струве и иже с ним — и вы признаете за Меньшиковым преимущество искренности, таланта, понимания настроения своей публики.

Невозможно представить, чтобы Меньшиков, редактор «Недели», допустил в своём журнале столь грубые выходки, как статья Чуковского о В. Г. Короленко, статья Мережковского о Л. Андрееве, Бердяева о революции и прочие выпады, допущенные «Русскою мыслью» наших дней.

Это одна из иллюстраций положения, которое я формулирую так: русский индивидуализм, развиваясь, принимает болезненный характер, влечёт за собою резкое понижение социально-этических запросов личности и сопровождается общим упадком боевых сил интеллекта.

* * *

Возьмём такие произведения старой литературы, как «Бесы», «Взбаламученное море», «Обрыв», «Новь» и «Дым», «Некуда» и «На ножах»; мы увидим в этих книгах совершенно открытое, пылкое и сильное чувство ненависти к тому типу, который другая литературная группа пыталась очертить в образах Рахметова, Рябинина, Стожарова, Светлова и т. п. Чем вызвано это чувство ненависти? Несомненно, тревогою людей, у которых более или менее прочно и стройно сложились свои взгляды на историю России, которые имели свой план работы над развитием её культуры, и — у нас нет причин отрицать это — люди искренно верили, что иным путём их страна не может идти. У каждого из них «были идеи» — и каждый оплатил свои идеи дорогой ценою, как это известно; их «идеи» могли быть ошибочны, даже вредны стране, но в данном случае нас занимает не оценка идей, а степень искренности и умственной силы их носителей. Они боролись с радикализмом порою — грубо, порою, как Писемский, — грязно, но всегда открыто, сильно.

Современного литератора трудно заподозрить в том, что его интересуют судьбы страны. Даже «старшие богатыри», будучи спрошены по этому поводу, вероятно, не станут отрицать, что для них родина — дело в лучшем случае второстепенное, что проблемы социальные не возбуждают их творчества в той силе, как загадки индивидуального бытия, что главное для них — искусство, свободное, объективное искусство, которое выше судеб родины, политики, партий и вне интересов дня, года, эпохи. Трудно представить себе, что подобное искусство возможно, ибо трудно допустить на земле бытие психически здорового человека, который, сознательно или бессознательно, не тяготел бы к той или иной социальной группе, не подчинялся бы её интересам, не защищал их, если они совпадают с его личными желаниями, и не боролся бы против враждебных ему групп. Может быть, этому закону не подчинены глухонемые от рождения, несомненно, вне его стоят идиоты и, как указано выше, из его круга вырываются хулиганы — хотя у хулиганов улиц и трущоб есть групповые организации — признак, что сознание необходимости социальных группировок не вполне отмерло даже в душе хулигана.

Но, допустим, существует совершенно свободное и вполне объективное искусство, искусство, для которого всё — равно и все — равны.

Нуждается ли в доказательствах тот факт, что современному литератору психология революционера далеко «не всё равно», что она ему враждебна и чужда?

Уважая человека, надо думать, что большинство крупных писателей современности не станет отрицать факта: психика эта неприятна им, и они по-своему борются с нею. За последние годы каждый из них поторопился сказать «несколько тёплых слов» об этом старом русском типе; посмотрим, насколько «объективно» и «внутренне свободно» их отношение к нему.

Толстой, Тургенев, Гончаров, даже Лесков и Писемский — внушили читателю весьма высокую оценку духовных данных революционера, читатель может уравновесить отрицательные характеры Достоевского положительными у Тургенева, Толстого и поправить преувеличения Лескова с Писемским из Болеслава Маркевича и Всеволода Крестовского; последние двое часто бывали объективнее первых двух.

По свидетельству всех этих писателей, революционер — человек не глупый, сильной воли и большой веры в себя; это враг опасный, враг хорошо вооружённый.

Современные авторы единогласно рисуют иной тип. Герой «Тьмы», несомненно слабоумен; это человек больной воли, которого можно сбить с ног одним парадоксом. Революционеры «Рассказа о семи повешенных» совершенно не интересовались делами, за которые они идут на виселицу, никто из них на протяжении рассказа ни словом не вспомнил об этих делах. Они производят впечатление людей, которые прожили жизнь неизмеримо скучно, не имеют ни одной живой связи со стенами тюрьмы и принимают смерть как безнадежно больной ложку лекарства.

Смешной и глупый Санин Арцыбашева на аршин выше всех социал-демократов, противопоставленных ему автором. В «Миллионах» социал-демократ — довольно тёмная личность, в «Ужасе» — революционер просто мерзавец. Люди «Человеческой Волны» — сплошь трусы. Эсдечка Алкина Сологуба — что общего имеет она с женщинами русской революции?

И даже Куприн, не желая отставать от товарищей-писателей, передал социал-демократку на изнасилование паровой припарке, а мужа её, эсдека, изобразил пошляком.

Следуя доброму примеру вождей, и рядовой литератор тоже начал хватать революционера за пятки, более или менее бесталанно подчёркивая в нем всё, что может затемнить и запачкать всё человеческое лицо, — может быть, единственно светлое лицо современности.

Этой лёгкой травле хотят придать вид полного объективизма, бросают грязью в лицо революционера, как бы мимоходом и как бы между прочим. Изображают его разбитным, глупым, пошлым, но при этой дурной игре делают сочувственную мину старой сиделки, которой ненавистен её больной.

Употребляя такие приемы унижения личности врага, какими не пользовались даже откровенные клеветники его — Ключников, Дьяков и другие, — что защищают, ради чего злобятся современные авторы?

Это грустное явление может быть объяснено только тем, что гг. писатели невольно подчинились гипнозу мещанства, которое, осторожно пробираясь ко власти, отравляет по дороге всех и всё. Это — упадок социальной этики, понижение самого типа русского писателя.

* * *

В истории развития литературы европейской наша юная литература представляет собою феномен изумительный; я не преу-

величу правды, сказав, что ни одна из литератур Запада не возникла к жизни с такою силою и быстротой, в таком мощном, ослепительном блеске таланта. Никто в Европе не создавал столь крупных, всем миром признанных книг, никто не творил столь дивных красот, при таких неописуемо тяжких условиях. Это незыблемо устанавливается путём сравнения истории западных литератур с историей нашей; нигде на протяжении неполных ста лет не появлялось столь яркого созвездия великих имён, как в России, и нигде не было такого обилия писателей-мучеников, как у нас.

Наша литература — наша гордость, лучшее, что создано нами как нацией. В ней — вся наша философия, в ней запечатлены великие порывы духа; в этом дивном, сказочно быстро построенном храме по сей день ярко горят умы великой красоты и силы, сердца святой чистоты — умы и сердца истинных художников. И все они правдиво и честно, освещая понятное, пережитое ими, говорят: храм русского искусства строен нами при молчаливой помощи народа, народ вдохновляет нас, любите его!

В нашем храме чаще и сильнее, чем в других, возглашалось общечеловеческое, значение русской литературы признано миром, изумлённым её красотой и силою. Она сумела показать Западу изумительное, неизвестное ему явление — русскую женщину, и только она умеет рассказать о человеке с такою неисчерпаемою, мягкою и страстною любовью матери.

Между оценкой литературы и нашей интеллигенции есть как бы противоречие, но это противоречие кажущееся. Психология старого русского литератора была шире и выше политических учений, которые тогда принимала интеллигенция. Попробуйте, например, уложить в рамки народничества таких писателей, как Слепцов, Помяловский, Левитов, Печерский, Гл. Успенский, Осипович, Гаршин, Потапенко, Короленко, Щедрин, Мамин-Сибиряк, Станюкович, и вы увидите, что народничество Лаврова, Юзова и Михайловского будет для них ложем Прокруста. Даже те, кого принято считать «чистыми народниками»: Златовратский, Каронин, Засодимский, Бажин, О. Забытый, Нэфедов, Наумов и ряд других сотрудников «Отечественных записок», «Дела», «Слова», «Мысли», и «Русского богатства» не входят в эти рамки — от каждого из них остаётся нечто, что даёт нам право сказать так: старый писатель там, где политическое учение могло ограничить его художественную силу, умел встать над политикой, а не подчинялся ей рабски, как мы видим это в наши дни. Иными словами: старая литература свободно отражала на-

строения, чувства, думы всей русской демократии, современная же покорно подчиняется внушениям мелких групп мещанства, торопливо занятого делом своей концентрации, внутренне деморализованного и хватающего наскоро всё, что попадёт под руку, как хватало оно в 80-х годах. Он бросается от позитивизма в мистицизм, от материализма в идеализм, перебегает из одной старой крепости в другую, находит их непрочными для спасения своего, ныне строит новую — прагматизм, но — едва ли успеет спрятаться где-либо от внутренней своей разрухи.

Писатели наших дней услужливо следуют за мещанами в их суете и тоже мечутся из стороны в сторону, сменяя лозунги и идеи, как платки во время насморка. Но уже ясно, что самая крупная и бойкая мысль в голове современного писателя — антидемократизм.

Возьмите нашу литературу со стороны богатства и разнообразия типа писателя: где и когда работали в одно и то же время такие несоединимые, столь чуждые один другому таланты, как Помяловский и Лесков, Слепцов и Достоевский, Гл. Успенский и Короленко, Щедрин и Тютчев? Продолжайте эти параллели, и вас поразит разность лиц, приёмов творчества, линии мысли, богатство языка.

В России каждый писатель был воистину и резко индивидуален, но всех объединяло одно упорное стремление — понять, почувствовать, догадаться о будущем страны, о судьбе её народа, об её роли на земле.

Как человек, как личность, как писатель русский доселе стоял освещённый ярким светом беззаветной и страстной любви к великому делу жизни, литературе, к усталому в труде народу, грустной своей земле. Это был честный боец, великомученик правды ради, богатырь в труде и дитя в отношении к людям, с душою, прозрачной, как слеза, и яркой, как звезда бледных небес России.

Всю жизнь свою, все силы сердца он тратил на жаркую проповедь общечеловеческой правды, будил внимание к народу своему, но не отделял его от мира, как Френсен отделяет немцев, Киплинг — англичан, как начинает отделять итальянцев д'Аннунцио.

Сердце русского писателя было колоколом любви, и ведущий и могучий звон его слышали все живые сердца страны...

— Всё это мне известно, — может сказать читатель.

Не сомневаюсь. Но я — для *писателей* говорю, мне кажется, что слава навалилась на них, обняла и, лаская, заткнула им уши

жирными пальцами своими, пальцами сытой, распутной мещанки, чтобы не слышали они голосов, проклинающих её. Я знаю былое отношение читателя к писателю-другу, не раз видал, как бывало читатель, узнав, что N. пьёт, грустно опускал голову, страдая за учителя и друга своего: с глубокою болью в сердце он понимал, что у N. тысяча причин пить горькую чашу.

Думаю, что писатели наших дней, при таких слухах о них, вызывают у читателя только улыбку снисхождения. И это — в лучшем случае.

Что говорил, чему учил старый писатель?

— Верь в свой народ, создавший могучий русский язык, верь в его творческие силы. Помогай ему подняться с колен, иди к нему, иди с ним. Уважай подругу твою, прекрасную русскую женщину, учись любить в ней человека, товарища твоего в трудной работе строительства русской земли.

Тысячи юношей пошли на этот зов, подняли вековую тяжесть, соединили передовые, лучшие силы народа и дали исконному врагу первый великий бой, и множество со славой погибло в бою. Но желаемое — совершилось, народ поднялся, осматривается, думает о новой неизбежной битве, ищет вождей, хочет слышать их мудрые голоса.

А вожди и пророки народа ушли в кабаки, в публичный дом.

Я не хочу этими словами обидеть кого-либо — зачем мне это? Я просто указываю здесь на явление неоспоримое, всем известное, ибо о нём согласно свидетельствует и беллетристика, и критика, и газеты текущего времени. Если бы это можно было написать, не искажая позорной правды, другими словами — я написал бы.

Душа поэта перестаёт быть эоловой арфой, отражающей все звуки жизни — весь смех, все слёзы и голоса её. Человек становится всё менее чуток к впечатлениям бытия, и в смехе его, слышном всё реже, звучат ноты болезненной усталости, когда-то святая дерзость принимает характер отчаянного озорства.

Поэт превращается в литератора и с высоты гениальных обобщений неудержимо скользит на плоскость мелочей жизни, швыряется среди будничных событий и, более или менее искусно обтачивая их чужой, заёмной мыслью, говорит о них словами, смысл которых, очевидно, чужд ему. Всё тоньше и острее форма, всё холоднее слово и беднее содержание, угасает искреннее чувство, нет пафоса; мысль, теряя крылья, печально падает в пыль будней, дробится, становится безрадостной, тяжёлой и больной. И снова — на месте бесстрашия скучное озорство, гнев сме-

нён крикливою злостью, ненависть говорит хриплым шёпотом и осторожно озирается по сторонам.

Для старых писателей типичны широкие концепции, стройные мировоззрения, интенсивность ощущения жизни, в поле их зрения лежал весь необъятный мир. «Личность» современного автора — это его манера писать, а личность — комплекс чувств и дум — становится всё более неуловимой, туманной и, говоря правдиво, жалкой. Писатель — это уже не зеркало мира, а маленький осколок; социальная амальгама стёрта с него; валяясь в уличной пыли городов, он не в силах отразить своими изломами великую жизнь мира и отражает обрывки уличной жизни, маленькие осколки разбитых душ.

На Руси великой народился новый тип писателя: это общественный шут, забавник жадного до развлечения мещанства, он служит публике, а не родине, и служит не как судия и свидетель жизни, а как нищий приживал — богатому. Он публично издевается сам над собой, как это видно по «Календарю писателя», — видимо, смех и ласка публики дороже для него, чем уважение её. Его готовность рассказывать хозяину своему похабные анекдоты должна вызывать у мещанина презрение к своему слуге.

Между прочими мерами степень собственного достоинства человека измеряется его презрением к пошлости. Современный русский «вождь общественного мнения» утратил презрение к пошлости: он берёт её под руку и вводит в храм русской литературы. У него нет уважения к имени своему — он беззаботно бросает его в ближайшую кучу грязи; без стыда и, не брезгуя, ставит имя свое с именами литературных аферистов, пошляков, паяцев и фокусников. Он научился ловко писать, сам стал фокусником слова и обнаруживает большой талант саморекламы.

Иногда и он крикливо, как попугай, порицает мещанство; мещанин слушает и улыбается, зная, что задорные эти слова — лай комнатной собачки и что сахаром ласки легко вызвать у нее благодарный визг.

Вспоминая грозные голоса львов старой литературы, мещанин облегчённо вздыхает и гордо оглядывается: вот настали дни его царства — пророки умерли, скоморохи стоят на месте их и потешают его, жирную жабу, когда он устаёт душить правду, красоту, любовь.

Славная, умная Жорж Санд говорила: «Искусство не такой дар, который мог бы обойтись без широких знаний во всех областях. Надо пожить, поискать, нужно сперва многое переварить, много любить, страдать, не переставая в то же время упорно работать.

Прежде, чем пустить в ход шпагу, надо основательно научиться фехтовать. Художник, который исключительно художник, бессилен, т. е. посредствен, или он вдается в крайность, т. е. безумен».

Посредственности и безумцы — вот два типа современного писателя.

Момент, переживаемый нашей страной, требует от него больших знаний, энциклопедизма, но писатель, видимо, не чувствует этих требований.

Литература наша — поле, вспаханное великими умами, ещё недавно плодородное, ещё недавно покрытое разнообразными и яркими цветами, — ныне зарастает бурьяном беззаботного невежества, забрасывается клочками цветных бумажек — это обложки французских, английских и немецких книг, это обрывки идей западного мещанства, маленьких идеек, чуждых нам; это даже не «примирение революции с небом», а просто озорство, хулиганское стремление забросать память о прошлом грязью и хламом. Пришёл кто-то чужой, и всё чуждо ему, он пляшет на свежих могилах, ходит по лужам крови, и его жёлтое, больное лицо бесстыдно скалит гнилые зубы. Вольной дикарь, он чувствует себя победителем, и орёт, орёт, опьянённый радостью при виде людей, которые сегодня слушают его бессвязный крик; зефемерида — он живёт шумом и блеском дня, не думая о том, что грозное завтра осудит его, горько и презрительно осмеёт.

О чём говорит современный литератор?

«Что есть жизнь? — говорит он. — Всё есть пища смерти, всё. И хорошее, и дурное, содеянное тобой, исчезнет со смертью твоею, человек. Всё — равн и все — равно ничтожны пред лицом смерти».

Слушая эти новые слова, мещанин одобрительно кивает головою: «Так, не стоит творить жизнь, и бесполезно стараться изменить её, добро и зло — равноценны. И зачем искать смысла дней? Примем и полюбим их такими, каковы они есть, наполним их всеми наслаждениями, доступными нам, и они будут легко и приятно поглощаться нами».

И храбро преступая кодекс морали своей, — уложение о наказаниях уголовных — мещанин наполняет дни свои грязью, пошлостью, творит маленькие, гадкие грешки против тела и духа человеческого и — блаженствует.

Он бессмертен, мещанин; он живуч, как лопух; попробуй — скоси его, но если не вырвешь корня — частной собственности, — он снова пышно разрастётся и быстро задушит все цветы вокруг себя. Проповедь смерти полезна ему: она вызывает в душе его

спокойный нигилизм и — только. Острой пряностью мышления о гибели всего сущего мещанство приправляет жирную и обильную пищу свою, побеждая пресыщение своё, а клиенты его, певцы смерти, господа Смертяшкины, действительно и неизлечимо отравляются страхом её, бледнеют, вянут и жалобно кричат:

— Погибаем, ибо нет личного бессмертия!

Известно, что «шуты и дети часто говорят правду».

Чуковский торжественно возгласил унижающую человека и писателя «правду» о современной литературе:

«Ужас Бесконечного» стал теперь, если хотите, литературной модой. Литераторы, поэты, художники обсасывают его, как леденец. И та литературная школа, с которой теперь всё охотнее сближает свое имя Андреев, — она вся вышла из этого ужаса, питается им. Для того, чтобы стать теперь истинным поэтом, нужно уметь ужаснуться. И Блока, и Белого, и Брюсова, и Леонида Андреева, как они ни различны, объединяет один этот животный ужас, который заставлял толстовского Ивана Ильича кричать протяжно и монотонно:

— У-у-у-у!..

Они — как приговорённые к казни. И пусть Брюсов относится к ней бодро и строго, а Белый фиглярничает и строит палачу рожи, пусть Сологуб забегает за секунду до эшафота в свою пещеру, а Городецкий восторгается палачом и поёт ему славословия — всё это, в конце концов, и эти безумные и мудрые слова, и эти кошмарные и строгие образы — всё это одно:

— У-у-у-у!

И ничто другое. И великим ныне сочтём того, кто сумеет по-новому, с новым приливом ужаса выкрикнуть этот вопль, и величайшим будет тот, кто заставит и нас вопить за ним, без слов, без мыслей, без желаний:

— У-у-у-у!..» (Газета «Родная земля». № 2. 1907 г.).

Вот какова «правда» Чуковского, и, видимо, названные им авторы согласны с этим определением смысла их творчества — никто из них не возразил ему.

Когда наш старый писатель страдал «от зубной боли в сердце», — в честном и чутком сердце своём, стон его муки сливался со стонами лучших людей земли, ибо он находился в неразрывном с ними духовном сосуществовании, и крик его был криком за всех.

Современный неврастеник возводит боль своих зубов — личный свой ужас пред жизнью — на степень мирового события; в каждой странице его книги, в каждом стихотворении ясно ви-

дишь искажённое лицо автора, его раскрытый рот, и слышен злой визг:

— Мне больно, мне страшно, а потому — будь вы все прокляты, с вашей наукой, политикой, обществом, со всем, что мешает вам видеть мои страдания!

Нет самолюбца более жестокого, чем больной.

Благодарение мудрой природе: личного бессмертия нет и все мы неизбежно исчезнем, чтобы дать на земле место людям сильнее, красивее, честнее нас, людям, которые создадут новую, прекрасную, яркую жизнь и, может быть, чудесною силою соединённых волей победят смерть.

Радостный привет людям будущего!

* * *

Признаком этического упадка в русском обществе является крутой поворот во взглядах на женщину.

Даже имея в виду хронически плохое состояние органа памяти у русских людей, надеюсь, нет надобности напомнить им исторические заслуги русской женщины, её великий социальный труд, её подвиги. Начиная с Марфы Борецкой и Морозовой, кончая женщинами раскольничьих скитов и революционных партий, мы видим перед собою образ эпический.

Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой, великолепно и любовно очерченные старыми мастерами образа и слова, а ещё точнее — музою новейшей русской истории.

Редко на протяжении трудного пути своего спрашивала она, «пеняя»:

— Долго ли муки сея, протопоп, будет?

Но когда ей говорили:

— Марковна! До самой смерти.

Она, «вздохня», отвечала:

— Добро, Петрович, ино еще побредём.

И вдруг эта женщина, воистину добрый гений страны, ушла из жизни, исчезла, как призрак; на место её ставят пред нами «кобыл» (Прошу заметить, что в этой статье я пользуюсь только теми грубостями, которые были уже употреблены ранее в журналах и газетах последнего времени), наделяют их неутолимою жаждою исключительно половой жизни, различными извращени-

ями в половой сфере, заставляют сниматься нагими, а главным образом — предаются на изнасилование.

Последнее удовольствие приняло характер спорта: если А. насиловал одну женщину, Б. — трёх, и если Г. — старушку, тётку, Ф. — родную дочь. С поразительной быстротою мещанство, одолевшее писателей, заставило их изнасиловать женщин всех возрастов и во всех степенях родства. Теперь, чтобы избежать повторений, необходимо литераторам обратить свои творческие силы на щук, ворон и жаб, следуя примеру одной из своих групп, которая, будучи понуждаема запросами публики, серьёзно приступила к изучению кошек.

Эта эпидемия порнографии, поразившая мозги наших литераторов, развилась так быстро и в таких грубых формах, что ошеломила честных людей — не все же они побиты на смерть! — и до сей поры, очевидно, они не могут собраться с силами, чтобы протестовать против грязи, которою усердно пачкают русскую девушку, женщину и мать.

Если честные люди не ясно видят источник отвратительного явления, их может в данном случае просветить немудрый г. Бердяев, читавший книгу Вейнингера ещё до перевода её на русский язык. Со свойственным неуклюжему россиянину грациозным умением носить на своих плечах тонкое платье, шитое западными портными и всегда уже несколько засаленное мещанином Европы, с присущим г. Бердяеву талантом огрублять и опошлять все чужие слова и заёмные мысли, он, горячий защитник «культурных ценностей», в одной из своих статей, едва ли не первый высказал несколько ценных мыслей о женщине. Тон его статьи весьма напоминает времена борьбы нашей реакционной печати против «стриженных девок», «нигилисток», а тема («духовная организация женщины ниже, чем таковая же у мужчин») — доказывается по-австралийски, с позаимствованиями из туземно-австралийских взглядов на вопрос, из «Домостроя» и подобных сим источников.

Но важна не статья Бердяева, а мотив, побуждающий его и ему подобных, вчерашних блондинов, озаботиться ниспровержением установившегося отношения к женщине как духовно равноценному и социально-равноправному товарищу.

Французы до сего дня прикованы к этому вопросу, немцы и теперь едва решаются касаться его, англичанин хотя и уступает женщине место рядом с собою, но делает это молча, неохотно подчиняясь напору необходимости, и, как заметно, он ещё будет оспаривать завоевания женщины. Наша литература уже в конце первой половины XIX столетия поставила и быстро решила

этот вопрос — одна из её великих заслуг перед родиной. Вопрос не мог быть решён иначе: малочисленность культурных сил, одиночество разночинца среди групп, которые презрительно отрицали его, — вся сумма условий, окружавших интеллигента в первые дни его борьбы за место в жизни, внушили ему верный тон в вопросе о женщине, повелели признать её силой всячески равной ему. Теперь он, должно быть, думает, что уже победил врага, и, как видно, старается превратить своих союзников — женщину и народ — в подданных, в рабов его милости. Это всегда так делалось, но — никогда не выполнялось столь скверно и цинично.

Мизогиния — нечто от плоти мещанской: женщина, помогавшая в борьбе, мешает победителю-мещанину спокойно пользоваться плодами его призрачной победы, ибо в процессе боя она развила в душе своей слишком высокие требования к мужчине — другу и союзнику.

Мещанство радо новому отношению к женщине и поощряет его, ибо оно возбуждает притуплённую чувственность изношенного мещанского тела — разве не забавно превратить врага в любовницу?

И в гнилых мозгах малокровных людей разгорается сладострастие, отравляя воображение картинami половой борьбы. А литераторы, снова вольно или невольно насыщаясь продуктами разложения мещанской души, переносят их на бумагу, всё более отравляя и себя, и окружающих.

На Кавказе, в Кабарде, ещё недавно, по словам А. Веселовского, существовали гегуако, бездомные народные певцы. Вот как один из них определил свою цель и свою силу:

«Я одним словом своим, — сказал он, — делаю из труса храбреца, защитника своего народа, вора превращаю в честного человека, на мои глаза не смеет показаться мошенник, я противник всего бесчестного, нехорошего».

Наши писатели, разумеется, считают себя выше «некультурного» поэта кабардинцев.

Если бы они, действительно, могли подняться на высоту его самооценки, если бы могли понять простую, но великую веру его в силу святого дара поэзии!

* * *

Теперь посмотрим, как относится наша интеллигенция к другому старому союзнику — мужику, и как относится к нему современная литература.

Лет пятьдесят мужика усиленно будили: вот — он проснулся; каков же его психический облик?

Скажут: слишком мало времени истекло, не было ещё возможности отметить изменения лица давно знакомого героя. Однако старая литература имела силы идти в ногу с жизнью, и у новой, очевидно, было время заметить в мужике кое-что; она о нём и говорила уже, и говорит.

Но определённых ответов на вопрос — не дано, хотя по некоторым намёкам молодых писателей уже видно, что ничего отрадного для страны и лестного для мужика они и не видят и не чувствуют.

Насколько обрисован мужик в журнальной и альманашной литературе наших дней — это старый, знакомый мужик Решетникова, тёмная личность, нечто зверообразное. И если отмечено новое в душе его, так это новое пока только склонность к пограммам, поджогам, грабежам. Пить он стал больше и к «барам» относится по шаблону мужиков чеховской новеллы «На даче», как об этом свидетельствует г. Муйжель в одноимённом рассказе — автор, показания коего о мужике наиболее обширны.

Общий тон отношения к старому герою русской литературы — разочарование и грусть, уже знакомые по литературе 80-х годов, когда тоже вздыхали:

— Мы для тебя, Русь, старались, а ты... эх ты! Изменщица!

И — так же ругались. Помню, как поразила меня одна фраза, сказанная уже в 92 году в кружке политических ссыльных по поводу холерных беспорядков на Волге:

— Нет, для нашего мужика всё ещё необходим и штык, и кнут! — грустно сказал бывший ссыльный, очень симпатичный человек во всём прочем.

И слова его не вызвали протеста товарищей.

Ныне при таком же молчании «культурного» общества народ именуют «фефелой», «потревоженным зверем» и т. д. (Хотя первоначально народ был обруган «фефелой» за недостаток темперамента, но впоследствии разные ретивые люди называли его этим именем уже «за все»!) Профессор П. Н. Милюков называет знамя величайшей идеи мира, способной объединить и объединяющей людей «красной тряпкой», идейных врагов — «ослами».

«Ослы», «кобылы», «звери», «фефела», «обозная сволочь» — браво, культура, браво, «культурные вожди русского общества»!

В пёстром стане защитников «культурных ценностей» уже нет ни одного честного воина, который мог бы, как Яков Полонский, красиво и искренно возгласить тост «за свободу враждебного пера».

Это ли не понижение типа русского культурного человека?

Рабочий, по осторожным очеркам молодых беллетристов, ещё хуже мужика: он глупее, более дерзок и при этом говорит о социализме, пагубности которого для себя и мира он, конечно, не может понять.

При всей идейной беззаботности гг. писателей «венского периода русской литературы», как выразился Амфитеатров, они прекрасно усвоили мещанское представление о социализме как о вредном учении, которое, защищая исключительные интересы желудка, совершенно отрицает запросы духа. Поэтому тяготение к социализму понимается ими как прогрессивное развитие слабоумия.

Что пролетарий везде и всюду среди мещан является неприятным лицом, слишком трагичным в мещанской комедии, что для современного автора он велик и неудобен как герой — всё это понятно.

Мужик же испортил свою карьеру в литературе и, видимо, надолго лишился тёплого отношения беллетристики по такому поводу: видя, что господа волнуются, требуя себе политической власти, и что мундирное начальство уступит им, если он своею силою поддержит господ, — он должен был отдать все силы свои в распоряжение воинствующего мещанства, а оно, построив его руками и своим умом крепость благополучия своего, после этого поблагодарило бы его. Он же, некультурный, вместо того, чтобы спокойно ожидать награды со стороны столь благородных господ, с настойчивостью, устранившею их, немедленно потребовал себе «всю землю» и, подстрекаемый рабочими, даже заговорил о социализме. За что — обруган и временно оставлен без внимания со стороны господ, известных своей добротой.

Разумеется, эта ссора интеллигенции с народом не может затянуться надолго: «без мужика не проживёшь», как показано Щедриным, но «культурному обществу», в интересах сохранения и дальнейшего роста страны, следует, возможно скорее прекратить проявления своих оскорблённых чувств, кончить истерические и капризные жалобы на непослушный её желанием народ. Интеллигенция же торопится забить своим телом все щели и трещины в государстве, потрясённом и полуразрушенном революцией; усталая и преждевременно разочарованная, она ищет лишь уютного места для отдыха, в деяниях её нет более любви к своей стране, в словах нет веры.

Надо учесть еще одно специфически русское явление: непосильный рост «лишних», «никудышных», «никчёмных», «не-

нужных» людей — рост этот очевиден, как и его причины. Это элемент, крайне опасный для жизни, ибо эти люди с убитой волей, без надежд, без желаний, люди, массой которых прекрасно умеет пользоваться наш враг. Когда тип «лишнего» человека отмечался литературой среди культурного общества, это было не страшно: культура создаётся энергией народа. Но когда сам народ из своей среды и непосредственно выдвигает «никчёмных», «никудашных», «ненужных» людей, это опасно, ибо свидетельствует об истощении почвы культурной — духовных сил народа; это явление надо учесть, с ним необходимо бороться. Задача литературы — уничтожить этих людей или, насытив их бодростью, воскресить к жизни активной.

Но — «позна вол стяжавшего и осёл ясли господина своего» — литераторы дружно уходят на службу мещанству. На этой почве они неизбежно должны испытать и уже испытывают роковую убыль души: в среде мещанства нет свободных планов, нет широких идей, способных стройно организовать творческие силы личности.

Как на болоте не может разрастись могучий дуб, но растут только хилые берёзы, низенькие ели, так и в этой гнилой среде не может сложиться и подняться высоко над жизнью буден могучий талант, способный окинуть орлиным взором всю пестроту явлений в своей стране и в мире, талант, освещающий пути к будущему и великие цели, окрыляющие нас, маленьких людей.

Мещанство — это ползучее растение, оно способно бесконечно размножаться и хотело бы задушить своими побегами все на своей дороге; вспомните, сколько великих поэтов было погублено им!

Мещанство — проклятие мира; оно пожирает личность изнутри, как червь опустошает плод; мещанство — чертополох; в шелесте его, злом и непрерывном, неслышно угасает звон мощных колоколов красоты и бодрой правды жизни. Оно бездонно-жадная трясина грязи, которая засасывает в липкую глубину свою гения, любовь, поэзию, мысль, науку и искусство.

Болезненный этот нарыв на могучем теле человечества ныне, мы видим, совершенно разрушил личность, привив в кровь её яд нигилистического индивидуализма, превращая человека в хулигана — существо бессвязное в самом себе, с раздробленным мозгом, изорванными нервами, неизлечимо глухое ко всем голосам жизни, кроме визгливых криков инстинкта, кроме подлого шёпота больных страстей.

Благодаря мещанству мы пришли от Прометея до хулигана.

Но хулиган — кровное дитя мещанина, это плод его чрева. Историей назначена ему роль отцеубийцы, и он будет отцеубийцею, он уничтожит родителя своего.

Это драма — семейная драма врага; мы смотрим на неё со смехом и радостью, но нам жалко, когда мещанство в борьбу со своим же исчадием вовлекает ценных и талантливых людей, нам грустно видеть, как гибнут они, отравленные гнилостным ядом бурно разрушающейся среды.

Нам — это естественное желание здорового — хочется видеть людей здоровыми, бодрыми, прекрасными; мы чувствуем, что, будучи развита и организована, духовная энергия народа нашего может освежить жизнь мира, ускорить наступление всечеловеческого праздника разума и красоты.

Ибо для нас история всемирной культуры написана гекзамером, и мы знаем: в мире будут дни всеобщего восторга людей пред картиною прошлых деяний своих, и земля когда-то явится во вселенной местом торжества жизни над смертью, местом, где возникнет воистину свободное искусство жить для искусства, творить великое!

Жизнь человечества — творчество, стремление к победе над сопротивлением мёртвой материи, желание овладеть всеми её тайнами и заставить силы её служить воле людей для счастья их. Идя к этой цели, мы должны в интересах успеха ревностно заботиться о постоянном развитии количества живой, сознательной и активной психофизической энергии мира. Задача данного исторического момента — развитие и организация, по возможности, всего запаса энергии народов, превращение её в активную силу, создание классовых, групповых и партийных коллективов.

